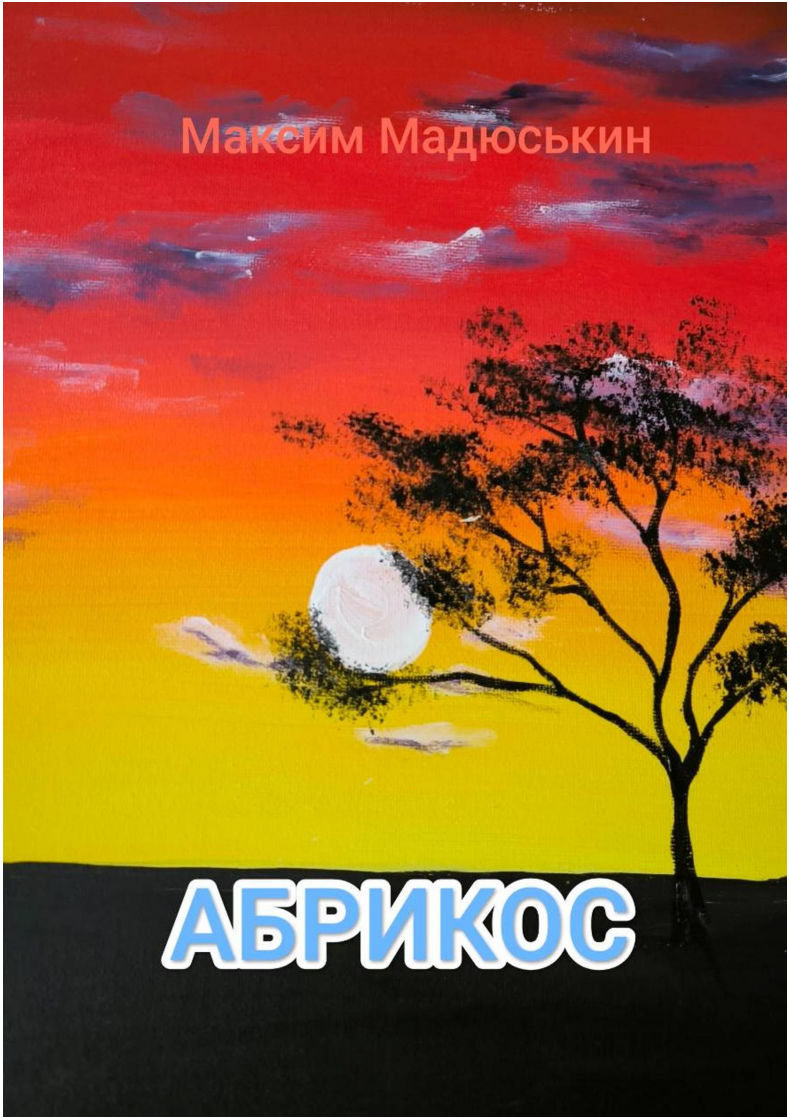
Максим Мадюськин
АБРИКОС

Максим Мадюськин
Абрикос

https://litres.ru/74708312
SelfPub; 2026

Аннотация

Несмотря на страх, Кристина очень хотела поговорить с Алексеем. Пока его не было дома, она готовилась: раскладывала мысли по полочкам, подбирала слова — будто это хоть как-то помогает держаться. Но стоило ему прийти и поцеловать её, как заготовленное рассыпалось. Разговор, которого Кристина так боялась, снова откладывался — сначала на завтра, потом на послезавтра.

Максим Мадюськин
Абрикос

Жизнь Кристины, дочери уважаемого и влиятельного бизнесмена, обещала быть лёгкой — без надломов, без резких поворотов, без тех разговоров, которые начинаются со слов «сами понимаете». Единственная дочь в семье была окружена заботой и роскошью. Они жили в большой квартире в центре — там, где было достаточно всего, но при этом не хотелось кричать о достатке на весь мир.

К пятнадцати годам Кристина превратилась в девушку редкой, почти показной гармонии — красивую, собранную, блестяще образованную. Она знала этикет так, будто тот был частью тела: ни слова лишнего, ни движения мимо. Говорила на двух языках без акцента и могла поддержать разговор про древних философов — не повторяя чужие фразы, а будто действительно умея мыслить. Глаза у неё были тёмные и спокойные, такие бывают у детей, которым не объясняли, что можно не получить. На запястье — дорогие часы. В прихожей — кроссовки, о которых другие школьники мечтали бы до лета.

Отец гордился ею. Он видел в Кристине проект, продолжение собственной уверенности — витрину, доказательство того, что всё идёт по плану. Но за идеальными обедами и тихими, правильно выстроенными вечерами жила девочка, ко-

торая умела побеждать по-настоящему. Не чужими руками. Не случайностью. Она знала вкус честной победы — когда сама, без поддержки и поблажек, выгрызаешь себе пятёрку на контрольной или идёшь и выигрываешь школьную олимпиаду.

А потом планы вдруг оказались бумажными.

Однажды ничего не предвещало беды: мир шёл так, как шёл всегда. Но лопнувшее колесо огромной фуры изменило всё. Удар пришёлся в заднюю часть машины. За рулём сидел отец. По стечению глупых обстоятельств Кристина в этот момент безмятежно дремала — она даже не поняла, что машина в какой-то момент стала судьбой.

Она не видела самого момента. Не помнила ни скрежета металла, ни визга тормозов. Не запомнила, как пространство будто перевернулось и застыло в звенящей, неправильной тишине. Очнулась Кристина уже в больнице — в белой палате, где пахло лекарствами и тишиной, от которой не спасают стены.

Тело казалось чужим — тяжёлым, словно внутри налили свинца. Первое, что она увидела, — лицо отца. Он сидел рядом с койкой: живой, целый, даже без царапины. Но взгляд его был таким, какого Кристина прежде не встречала. Растерянный. Испуганный. Виноватый.

— Пап… — прошептала она пересохшими губами.

Он схватил её за руку — слишком крепко, так крепко, что стало больно. Но Кристина не отдёрнула. Наверное, потому

что тогда всё держалось именно на этом хвате.

— Я здесь, доча. Я здесь. Всё будет хорошо, — сказал он. И голос дрогнул.

Мать стояла у двери. Бледная. С красными глазами. В руках — платок, который она сжимала так, будто пыталась удержать в нём то, что уже не удерживается. Она не плакала — видно, слёзы закончились ещё ночью.

Потом пришли врачи.

Они говорили осторожно, подбирая слова как сапёры — чтобы не задеть лишнего. «Сложная травма позвоночника». «Длительная реабилитация». «Возможно, придётся привыкать к новым условиям жизни». Прямо не формулировали самое страшное, но Кристина слышала всё между строк — и как они обходили взглядом её лицо, и как в их тоне появлялась такая привычная, профессиональная пустота.

Проходили дни. Потом недели.

Лучшие специалисты разводили руками — так, будто упирались не в стену, а в потолок, которого в больнице не должно быть. Они не понимали, как помочь. Случай Кристины был для многих особенным — а потому ломал стандарт. Они собирались консилиумами, изучали снимки, листали медицинские справочники на иностранных языках, спорили в коридорах так, что от раздражения становилось холодно. Но каждый раз выходили к родителям с одними и теми же виноватыми лицами и пустыми руками.

Отец метался по больнице, как загнанный зверь. Он при-

вык решать проблемы деньгами и связями — значит, и эту проблему надо купить, переспорить, обойти. Он звонил в Швейцарию, Германию, Израиль. Готов был выложить любые суммы. Но даже самые дорогие и уверенные в себе светила, изучив документы, вежливо говорили одно и то же: «Мы готовы попробовать. Но гарантий нет. Никаких».

И вот тогда стало ясно, что мир держится не на деньгах — а на привычке считать, что с тобой это не случится.

Друзья Кристины исчезли.

Сначала ещё звонили. Писали в мессенджерах. Обещали приехать. Потом звонки стали реже, сообщения — короче. «Ну как ты там?» — «Нормально». — «Держись, мы скоро забежим». Но не забегали. Не приезжали. Никто не приходил.

Каждый день Кристина смотрела на экран телефона, где загорались уведомления из школьных чатов: там обсуждали контрольные, вечеринки, новые кроссовки. Её мир остановился, а их продолжал крутиться, как ни в чём не бывало. Она вдруг стала неудобной. Тяжёлой. Пугающей — напоминанием того, что жизнь может перевернуться в одну секунду, и никто не обязан быть исключением.

И эти весёлые, красивые, здоровые мальчики и девочки предпочли отвернуться.

Осталась только Ленка.

Они дружили с детства, и Ленка жила этажом ниже — та, с кем Кристина всегда могла поделиться тем, что не склады-

вается в хорошие слова, и просто выговориться. Ленка не исчезала. Она оставалась единственным звеном, связывающим Кристину с прежним миром.

Она приходила каждый день после школы. Садилась на край кровати, рассказывала новости, пересказывала школьные сплетни, ругалась — негромко, по делу — на учителей. Никогда не спрашивала «как ты?» той фальшивой интонацией, от которой хотелось выть. Никогда не говорила «всё будет хорошо» — потому что обе понимали: никто не знает. Ленка просто была рядом. И это было дороже любых обещаний.

Леша своих родителей не помнил. Совсем.

В его памяти было что-то вроде белого шума: обрывки голосов, тепло чьих-то рук, но стоило попытаться ухватиться — всё рассыпалось в пыль. С самого детства его миром стал детский дом. Длинное двухэтажное здание из красного кирпича. Облупившаяся штукатурка на углах. Запах хлорки и казённых щей — такой, будто он въелся в стены и поселился там навсегда.

Учёба не занимала. Сидеть ровно сорок пять минут, втыкая взгляд в доску, было для него пыткой. Учителя пожимали плечами: «Способный, но неусидчивый. Мог бы, если бы захотел». Но он не хотел — точнее, хотел он совсем другого.

Он любил убегать.

По-настоящему — шмыгнуть в щель в заборе, когда ня-

нечка отвернулась, и бежать через пустырь к старому клубу. Но главное своё убежище Леша носил не снаружи. Он держал его внутри — там, где жила музыка.

У Алексея был исключительный слух и голос — редкий, настоящий. Это не было преувеличением. Воспитатели поначалу не придали значения тому, как мальчишка напевал под нос: дети поют — значит, просто поёт. Но однажды музыкальный руководитель, тётя Валя, поставила пластинку с песнями из советских кинофильмов. Она поставила, отвернулась — и вдруг услышала нечто такое, что у неё перехватило дыхание.

Леша сидел на корточках в углу актового зала и подпевал.

Он не повторял голос певца — он жил в песне. Его чистый, звонкий тембр не просто проходил по воздуху: он натягивал что-то внутри слушателя, как если бы невидимая струна протянулась от горла Леши до самой люстры под потолком.

— Господи… — выдохнула тётя Валя, прижимая руку к груди. — Откуда ж это в тебе, Лешка?

Мальчишка смутился, затих и уставился в пол. Он не знал, откуда в нём это. Но знал другое: когда он поёт, детдом перестаёт быть детдомом. Стены становятся мягче. Воздух — гуще. А где-то за горизонтом существует большая, настоящая жизнь, где его ждут.

Учился он по-прежнему кое-как. Но музыка стала его тайной религией. Когда другие мальчишки гоняли мяч или дра-

лись подушками в спальне, Леша мог часами сидеть на подоконнике и выстукивать пальцами ритм по стеклу — ритм, который слышал только он. Иногда он находил в фойе старое расстроенное пианино: клавиши западали и звучали глухо, но для него это был лучший оркестр на свете.

А иногда, когда никто не видел, Леша прикладывал ладонь к груди и чувствовал, как внутри бьётся что-то большое, сильное, почти невыносимое. Как музыкант чувствует настройку перед концертом. Как зверь чувствует приближение грозы.

Он не знал, кем были его родители. Не знал, почему оставили его на пороге этого дома. Но в минуты, когда голос взлетал под потолок — легко, будто птица касается неба, — ему казалось: музыка и есть его настоящая мать.

Та, которая никогда не уйдёт. Та, которая не предаст.

И та, что всегда будет звучать в его груди — даже когда вокруг станет тишина.

После девятого класса Леша поступил в музыкальное училище — туда, где про него уже говорили без лишних объяснений. Слухи разошлись по городу ещё за год до поступления, и разошлись так быстро, будто их подслушали не люди, а сама музыка.

Тетя Валя — та самая, с прокуренным голосом и вечно уставшими глазами — ходила по инстанциям как по минному полю. Умела ловить нужных людей в коридорах, не спо-

рить вслух, но давить напором так, что директору оставалось только сделать вид: он сдался сам.

— Вы послушайте его, — твердило Валин голосом каждое её утро. — Просто послушайте. Он не учился нотам. Он с неба их берёт. Но послушайте.

Директор училища, пожилой мужчина с лицом человека, которого жизнь уже успела разочаровать, долго держался. Он привык, что талант — это либо редкость, либо обманчивое ожидание. Но однажды устал и приехал сам: сел в четвертый ряд актового зала, скрестил руки на груди и приготовился к вежливому получасовому испытанию — после которого можно будет уехать с чувством выполненного долга.

Леша вышел на сцену босиком.

Он всегда так делал, когда волновался: снимал сандалии и чувствовал подошвами прохладный, чуть скользкий пол — будто проверял мир на прочность. Встал у рояля, который здесь стоял больше для вида, чем для настоящей музыки, и запел.

Он выбрал «Журавлиную песню» из старого фильма. Голос ещё не окреп до конца — иногда срывался на мальчишеский надрыв, — зато в нём было столько правды, что у директора перехватило горло. Он смотрел на босоногого паренька с вихром на макушке и вдруг ясно увидел: перед ним не «детдомовец», не «случай», не «будет — не будет». Перед ним был чистый, неогранённый алмаз, валявшийся в пыли и ждавший, когда его наконец поднимут.

— Забираю, — сказал директор, когда песня закончилась. — Без экзаменов. Я сам буду с ним заниматься.

Тетя Валя заплакала. Она вытирала глаза кончиком платка и повторяла одно, будто заклинание: «Я же говорила, я же говорила…»

Леша стоял посередине сцены — босиком, чуть смущённый — и чувствовал, как в груди разрастается горячее. Он не знал, что такое счастье. В детдоме это слово звучало как что-то книжное, чужое. Но сейчас, кажется, оно впервые постучалось в сердце — без стука и просьб, просто вошло и осталось.

Училище встретило его запахом старого дерева, лака и пыли от нотных партитур. Высокие потолки. Длинные коридоры. Портреты композиторов на стенах — строгие и чуть вопросительные взгляды, будто они тоже ждали от новичка объяснений, почему он вообще сюда сунулся.

Леша поначалу робел и зажимался, прятал руки в карманы слишком широких брюк — казённых, детдомовских, но всё равно своих. Однако музыка выравнивала его, становилась стержнем, на котором тело учится держаться ровно. Он распрямлялся, когда пел, и не боялся, когда молчал.

Андрей Сергеевич — так звали директора — оказался человеком суровым, но справедливым. Он не делал ему скидок. Наоборот: гонял так, что к вечеру дрожали пальцы, а голос садился до хрипоты.

— У тебя талант, — говорил он, поправляя очки. — Это

не твоя заслуга. Это подарок судьбы. Но если ты не будешь работать — этот подарок потеряешь. Понял?

Леша кивал. Понимал — потому что помнил другое. Помнил белый шум вместо воспоминаний о родителях. Помнил холодные простыни. Помнил простую казённую жизнь, где тебя больше всего учат не мечтать. И помнил, как по ночам тайком пел в подушку, чтобы никто не услышал его плача.

Музыка стала его голосом. Сначала единственным. Потом — главным.

На первом курсе он впервые вышел на сцену училищного зала при полном сборе. Зрителей было немного — человек шестьдесят, преподаватели да студенты, — но для Леши это была бездна: пугающая и манящая одновременно. Софиты били в лицо, зал тонул в темноте. Он снова скинул ботинки — как будто возвращался домой.

Он пел арию Ленского.

Голос уже окреп, налился силой, но сохранил ту самую детдомовскую щемящую ноту — её нельзя было объяснить словами и нельзя было купить. Когда он закончил, в зале повисла тишина. Не та, когда людям скучно. Та, когда в груди что-то дрогнуло и не может быстро оправиться.

А потом кто-то всхлипнул в первом ряду. И зал взорвался аплодисментами.

Леша стоял босиком, чувствовал пятками тёплый пол и улыбался. Впервые за долгое время — по-настоящему.

Он не помнил своих родителей. Но в такие моменты ему

казалось: они всё-таки есть. Где-то наверху. И, может быть, слышат.

Живя в общежитии музыкального училища, получая скромную стипендию и маленькую помощь от государства, Алексей хотел большего — не ради богатства. Деньги он плохо понимал: в детдоме их не было вообще. Хотел он свободы. Свободы купить себе нормальные ботинки, а не те, что разваливаются после первой осени. Свободы сходить в кафе, как обычные студенты, а не стоять под дверью столовой в ожидании, когда вынесут остатки обеда.

Поэтому от подработок он не отказывался.

Сначала всё было просто. Как-то старшекурсники обмолвились, что в городе ищут певца на свадьбу — недорого, но кормят и платят наличными. Леша согласился сразу, не спрашивая, сколько именно заплатят. Ему не нужны были расчёты. Ему нужно было петь. Петь то, что рождалось внутри — не репетицией и не указкой, а настоящим.

А он пел.

И это было удивительно даже ему самому: семнадцатилетний парень, не знавший родителей, вдруг начал сочинять. Слова и мелодии приходили к нему сами — ночью, после репетиций, в перерывах между парами. Он записывал их на клочках бумаги, в старую тетрадь, на полях нотных листов. У него не было образования композитора. Зато была внутренняя правда — та, что важнее любого диплома.

Первая свадьба запомнилась на всю жизнь.

Шумный ресторан с золотыми шторами. Пахнет жареным мясом и духами. Гости, уже выпившие, кричат: «Горько!», звенят бокалами. Леша стоит в углу с микрофоном, будто настраивается перед выстрелом: сердце бьётся, не успевает за дыханием.

Он зажмурился на секунду — и запел.

Он исполнил песню, которую написал прошлой ночью, сидя на подоконнике в общежитии. Песня была о мальчике, который ищет дом, и о дороге, которая никогда не заканчивается. Когда он закончил, зал застыл на странной тишине — не от недовольства, а будто слова задели что-то глубже, чем музыка.

Первой заплакала невеста. Потом её мать. Потом — какие-то незнакомые тёти за дальним столом. Леша видел это боковым зрением и понимал: его голос не просто развлекает. Он достаёт наружу то, что люди прячут.

К концу вечера молодожёны обнимали его, а гости совали в карман смятые купюры. Леша потом посчитал — получилось полторы тысячи рублей. Для него это было целое состояние. Он купил новые джинсы и пару кроссовок. Впервые в жизни — не казённые.

Свадьбы пошли одна за другой. Сарафанное радио работало лучше любой рекламы: «Тот парень из музучилища, сирота, поёт своё. Такое, что душу выворачивает. Никто так не поёт».

Его звали на корпоративы, на дни рождения, на проводы в армию. Он не отказывался. Всегда приносил свою гитару — старую, с поцарапанным верхом, и пел только своё.

— А что же ты чужие не поёшь? — как-то спросил его пьяный гость на юбилее.

— Чужие песни — это про чужую жизнь, — ответил Леша, настраивая струну. — А я хочу, чтобы люди слышали мою.

Но со временем одного пения ему стало мало.

Он смотрел на ведущих: громкоголосых, ярких, тех, кто держит зал и управляет настроением сотни гостей. И понимал простую вещь: там не только музыка. Там — внимание к людям. Там — умение держать паузу, вовремя пошутить, вовремя замолчать, когда человеку больно или стыдно.

Леша мог чувствовать зал. Он видел, кому сейчас грустно, кого надо растормошить, а кого — оставить в покое. В нём была детдомовская чуткость к людям — умение считывать настроение, чтобы выжить среди чужих правил.

Однажды он пришёл к директору ресторана, где чаще всего пел, и сказал:

— Дайте мне вести свадьбу. Самому. Я справлюсь.

Директор — грузный мужчина с толстой золотой цепью — посмотрел на него так, будто оценивал не талант, а возраст.

— Ты ж пацан зелёный. Тебе сколько? Семнадцать?

— Восемнадцать, — соврал Леша. Ему было семнадцать с половиной.

— Ну, давай попробуй. Если провалишься — больше не позову.

Леша не провалил.

Первая свадьба, которую он вёл сам, прошла так, что молодожёны наутро позвонили в ресторан и попросили дать ему премию. Он шутил, пел свои песни, танцевал с бабушками, утирал невесте слёзы, когда она вспоминала умершую мать, и поднимал тосты так искренне, что даже самые хмурые гости начинали улыбаться.

Постепенно стало ясно: он нужен не только как «сирота, которого надо пожалеть». Он нужен как профессионал, который делает вечер настоящим праздником.

Деньги потекли рекой.

Теперь он мог снять квартиру — но остался в общежитии. Привык. К тому же там было весело: постоянно играла музыка, а соседи-студенты гордились тем, что живут с тем самым Лешей, который пишет песни, под которые люди плачут даже на свадьбах.

По вечерам он садился на подоконник в коридоре, смотрел на огни ночного города и перебирал в голове новые строчки. Сочинял. Снова и снова. Потому что внутри него было слишком много — вся та жизнь, которую он не прожил, все те слова, которые он не сказал своим родителям, которых никогда не знал.

Иногда, в редкие минуты тишины, он вспоминал детдом: красный кирпич, запах хлорки, нянечку, которая по ночам

вязала и тихо пела старые песни. Он не злился на свою судьбу. Просто делал её сам.

Каждый вечер. Каждую новую песню. Каждое слово — в микрофон.

Леша строил себя заново: из голоса, из рифм, из тишины между аккордами. И это строительство было главным делом его жизни.

Кристина редко выбиралась из своей берлоги — из тех полумраков, где стены не задают лишних вопросов. Но пропустить свадьбу Ленки, единственной, а значит, последней подруги, было нельзя. Даже если это «нельзя» каждый раз превращалось в набор глупых, но изобретательных отмазок.

Она перебрала всё: внезапную аллергию на цветы, внезапный потоп в собственной квартире, внезапно обнаружившуюся пробку на лестничной клетке, а ещё — «мне нельзя волноваться, врач запретил». Логика была простая: если придумать достаточно правдоподобное «нельзя», реальность можно обмануть хотя бы на вечер.

Но Ленка была настойчива. Как комар, который залетает в ухо ровно в три ночи и вылетает только тогда, когда ты уже разметал себе череп об стену. Кристина сдалась.

Села в машину. Смотрела сквозь тонировку на вереницу гостей в сияющих нарядах, на ленты и шары, привязанные к перилам. Грудь сдавило — не от красоты. От мысли: «Господи, зачем я сюда припёрлась».

Отец заглушил мотор и обернулся:

— Я помогу тебе выйти, доча.

— Подожди, — попросила Кристина. — Ещё минуту.

Ей было страшно не самой свадьбы. Страшно было другое: что её появление разобьёт праздник вдребезги, что гости замолкнут и кто-то обязательно заплачет — не от радости, а от этой липкой жалости, от которой хочется провалиться сквозь землю. Или хотя бы оказаться в соседнем ресторане, где подают пельмени и не задают вопросов.

— Я не могу, пап, — прошептала она и сжала подлокотник так, что костяшки побелели. — Я не готова.

Отец не спорил. Вышел, обошёл машину, открыл дверь и протянул руки. Кристина позволила поднять себя, пересадить в коляску. Ненавистные секунды — когда тело становится чужим и беспомощным, а ноги болтаются в воздухе, как что-то случайно забытое. Она держалась зубами за саму себя и смотрела куда угодно — только не внутрь этой унизительной, механической смены состояния.

Ленка увидела издалека и выбежала навстречу — в пышном белом платье, с мелкими косичками и глазами, полными слёз и счастья, как будто она всю жизнь репетировала этот момент перед зеркалом. Она была похожа на торт, который решил самостоятельно дойти до свадебного стола.

— Ты приехала! — заорала Ленка так, что обернулись прохожие, а одна бабка перекрестилась.

Кристина успела почувствовать неловкость — и в следу-

ющее мгновение была прижата к Ленкиной щеке.

— Я знала! Знала, что ты приедешь! — Ленка говорила сквозь собственный воздух. — Я не могла не приехать… Ты же сказала, что без меня свадьбы не будет.

— И не было бы, — Ленка отстранилась, вытерла слёзы тыльной стороной ладони и размазала тушь, из-за чего теперь выглядела ещё смешнее и живее — панда, которая неудачно сходила на свидание и всё равно победила. — Чёрт, я сейчас разревусь. Пошли, покажу, где ты будешь сидеть.

Она сама взялась за ручки коляски — легко, уверенно, будто у неё это на ладонях с детства. Оттеснила отца, покатила Кристину внутрь.

Гости уже собрались. В центре зала стоял длинный стол, украшенный живыми цветами — такими красивыми сегодня и такими обречёнными к утру, как будто сама природа напоминала всем о бренности.

Кристина выдохнула. Легче не стало. Но дышать получилось глубже — как будто Ленка, толкая колёса, вместе с ними толкнула и страх.

Им отвели место в начале стола — рядом с родителями Ленки. Какая-то дальняя родственница — тётя, которая лечила всех своей любовью и чесночными настойками — подскочила, заметалась:

— Ой, давайте я стул уберу, чтобы коляска поместилась!

Кристина улыбнулась вежливо и произнесла:

— Спасибо, не надо.

Внутри всё переворачивалось от этой суеты. Хотелось сказать: «Тётя, если вы ещё раз дотронетесь до моей коляски, я вам её на ногу поставлю». Но Кристина сдержалась. Не ради тёти — ради себя. Чтобы не сорваться, чтобы не начать отвечать на чужую жалость тем, что разрушит и праздник, и собственное остаточное спокойствие.

Гости смотрели.

Кто-то отводил глаза — как будто стыдился собственной реакции. Кто-то, наоборот, сверлил взглядом, будто пытался просверлить дыру и заглянуть внутрь — в ту девушку, которая раньше бегала, прыгала, смеялась, а теперь сидит в коляске и делает вид, что всё нормально.

Кто-то шептался. Кристина слышала обрывки:

—Такая молодая… —А теперь вот… — Ужасная история…

Ей хотелось обернуться и сказать: «История не ужасная. Ужасными её делаете вы — со своими шепотками». Но снова — не сказала. Потому что и злость, и слова тоже требуют сил. А сил у неё было мало.

Она взяла бокал с водой — просто чтобы занять руки. Вода была тёплой и противной. Как сочувствие от малознакомых людей: снаружи мягкое, внутри липкое, и от него всё равно неприятно.

Вёл свадьбу Лёша.

Тёмно-серый пиджак. Белая рубашка. Галстук, завязан-

ный так ровно, будто он не просто повязывал узел — он настраивал себя на точность. Он стоял у микрофона, поправил галстук и сказал:

— А теперь, дорогие гости, я хочу сделать небольшой перерыв. Мы только что пережили шикарный танец молодых, мама невесты уже выплакала все слёзы, папа жениха уже налил себе пятую рюмку, а значит, настало время для живого звука. Сейчас я спою вам песню, которую написал специально для молодых.

Он взял гитару, провёл пальцами по струнам. В зале стало тихо — так тихо, что замерли даже официанты с подносами, и даже тот самый дальний родственник, который попытался незаметно разлить коньяк в свой карман, остановился и поднял голову.

Лёша закрыл глаза на секунду — как будто нырнул в себя, — а потом начал петь.

Хрипловато. Чуть в нос. Не для всех — для тех, кому нужно слышать.

Его голос то поднимался, то падал, и в нём было столько — что Кристина, как ни пыталась держаться за реальность, вдруг забыла, как дышать. Он пел о том, как трудно найти человека, с которым можно молчать, и это молчание не будет пустым. О том, что любовь — не конфеты и цветы, а когда тебя в три часа ночи не стесняются уговаривать: «Ложись спать, ты же снова забыл поесть». Он пел о роскоши быть принятым таким, какой ты есть — со всеми шрамами и та-

раканами.

И в этой песне было что-то такое, от чего у Кристины защипало в носу.

Не потому, что слова были идеальными. Нет. Они были простыми, местами даже корявыми — как жизнь в обычные дни, без глянца. Но Лёша вкладывал в них всё себя. Не играл. Не притворялся. Не пытался казаться тем, кем не является. Стоял с гитарой и пел о том, во что верил.

Пел о любви — как о чем-то настоящем, выстраданном, найденном и снова потерянном, всё время искомом, потому что по-другому Лёша не умел.

Это ощущалось в каждом слове. В каждом выдохе между строчками.

Он пел не «для публики». Он пел для себя. Для той части внутри него, которая всё ещё надеялась, что кто-то однажды скажет: «Я принимаю тебя».

Кристина сглотнула.

Она не плакала — плакать при людях она давно разучилась. Но ей казалось, будто этот голос залез куда-то глубоко под рёбра и сидит там тихо, как кот, который нашёл тёплое место и не хочет уходить.

Песня закончилась.

Зал захлопал.

Кто-то выкрикнул «Браво!». Лёша смущённо улыбнулся, поправил галстук и сказал:

— Спасибо. Я просто хотел, чтобы вы запомнили этот ве-

чер не только салатами и тем, как дядя Вова упал в кусты.

Все засмеялись. Лёша посмотрел в зал — и на секунду их взгляды встретились.

Может, две. Может, одну.

Но за это время Кристина почувствовала себя так, будто её раздели и поставили под яркий свет. Не в плохом смысле — наоборот. В смысле, что хочется не спрятаться, а встать и подойти.

Она не встала.

Отвела глаза. Сделала глоток той тёплой, противной воды — будто вода могла вернуть её в безопасную оболочку.

Лёша тоже отвёл взгляд, объявил следующий танец и пошёл к аппаратуре.

А Кристина вдруг поймала себя на мысли — глупой, невозможной, но настоящей — что хочет, чтобы он снова спел. Не для всех.

Для неё.

И сразу же себя одёрнула: хватит. Пришла она сюда ради Ленки. Всё остальное — музыка. Просто голос. Ещё один человек делает вид, что у него всё хорошо.

Только почему-то её руки всё ещё сжимали бокал так, будто она боялась: вот сейчас он упадёт — и разобьётся.

Зал в очередной раз взорвался аплодисментами, но Лёша почти не слышал. Он смотрел не на сцену, не на танцующих, не на лица, которые кричали и хлопали в ладоши. Он смотрел на девушку за третьим столиком слева.

Она сидела в коляске. Но дело было даже не в коляске — дело было в глазах.

В них не было суеты. В них не было просьбы и не было вызова. Будто она не просто смотрит, а читает: читают тебя — от галстука до последней мысли в голове, до каждого спрятанного «не могу» и «не хочу». Смотрит так, что хочется либо исчезнуть, либо наоборот — встать и сказать правду вслух.

Лёша отвёл взгляд первым.

Объявил следующий танец. Пошёл к аппаратуре, врубил ритмичное — то, что просили молодые. Пальцы на пульте дрожали, хотя он запретил себе дрожать.

Он пил воду и снова смотрел в сторону третьего столика.

Девушка разговаривала с какой-то тёткой в блестящем платье. Улыбалась. Наклоняла голову. Вела себя так, как учат вести себя правильных людей — спокойно, тихо, будто всё происходит не с ней, а где-то рядом. И Лёша вдруг понял: эти глаза он знает.

Не «видел где-то». Он видел их во сне.

Три ночи назад — перед тем, как проснуться в три часа, сесть за гитару и начать петь чужую для него мелодию. Мелодию, которая пришла ниоткуда, из воздуха, из какой-то памяти без картинки. Не его стиль. Не его привычная манера. Почти попса — простецкие аккорды, которые он сто раз перебирал на репетициях и никогда не мог сложить в песню. А тут — сложилось. За полчаса. И текст пришёл сам: строчка

за строчкой, будто кто-то диктовал.

Он записал в диктофон. Потом утром подумал: «В мусорку». Не выбросил.

И сейчас, глядя в серые глаза, он вдруг точно понял: я спою её сейчас. Не для зала. Для неё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.